

Свирский Алексей Иванович

История моей жизни

Книга 1

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
А47

А47 **Алексей Иванович С.**
История моей жизни: Книга 1 / Свирский Алексей Иванович – М.: Книга
по Требованию, 2025. – 286 с.

ISBN 978-5-519-85055-1

ISBN 978-5-519-85055-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2025

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2025

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

1

Л е т н и й д е н ь

В далекой загородной больнице умирает моя мать... А мне всего восемь лет. Я бегаю по нашей Приречной улице босиком, в длинной ситцевой рубашке, на моей чернокудрой голове играет солнце, теплая река мягкой кошкой стигбается, ластится и поминутно зовет купаться; сквозь зеленое кружево зреющих садов смеются краснощекие яблоки, янтарные груши, желто-синие бусы поспевающих слив, звонко дрожит земля в сияющем океане солнечных дней, а там, далеко, за чужими улицами умирает мама. Моя мама...

Зачем умирать, когда мне так некогда? И почему летом дни такие коротенькие? Не успеешь наигратся, а солнце уже садится на корточки и поджигает ореховую рощу, что по ту сторону реки. Густо наливается синью предвечернее небо, и под босыми ногами остывают камни и земля.

Вот когда хорошо побегать! Нет пыли, от жары не потеешь, а когда крикнешь в тишину, роща тебе откликается...

Но тетя Сара — родная сестра моей мамы — не дает покою: вот сейчас появится она на кривобоком крылечке и позовет домой. А уходить совсем не хочется.

На нашем дворе детей больше, чем зерен в маковой головке; все мы бедны, все равны и все драчуны.

Наш двор самый сильный и храбрый. Соседние мальчишки нас знают и проходят мимо с опаской.

Играем в горелки, в чижики, в пятнашки, в разбойники, в прятки и так хохочем, так прыгаем, что воробьи и ласточки нам завидуют... И вдруг — тетя...

С опущенной головой иду на строгий зов. Тетя сердится. Лицо худое, с желтыми пятнами, а большие серые глаза из-под черных бровей злятся, угрожают...

Она бросает мне навстречу:

— Без зова не можешь приходить, лгунишка сопливый?

Тетя бьет меня в самое сердце. Мой позор, мое несчастье заключается в том, что я часто помимо воли навру почем зря, а к вечеру все разъяснится, и меня уличают во лжи.

Я никак не могу понять, зачем я сочиняю всякие небылицы, а удержаться не могу? Выдумаешь что-нибудь и спешешь скорее рассказать взрослым, а те слушают, верят, расспрашивают, и мне приятно, что «дяди» и «тети» заинтересованы мною...

— Тетя, — кричу я с порога, — вы знаете, что случилось? Сося-Двойре на улице вот сейчас только родила девочку, малюсенькую-малюсенькую... Народу сколько собралось!.. Она кричала как!..

Тетя верит, охает, изумляется, а к вечеру узнают, что я наврал, и надо мною потешаются.

А то еще так: прибегаю домой и сообщая новость — ночью вся Киевская улица сгорела без остатка. Слух этот вешними потоками разливается по всей нашей Приречной. У многих на Киевской имеются родственники. Взрослые бросают работу и бегут к месту ночного пожара, а я прячусь, горю стыдом, раскаиваюсь, клянусь свою глупую голову и боюсь на глаза показаться.

Ужасное прозвище «лгунишка» тяжелой обидой

падает на мои маленькие плечи, и не раз мне приходится вступать с товарищами в ожесточенные битвы из-за проклятой клички.

Но вот уже я лежу на кухне у окна, на большом мамином сундуке, а подо мною вчетверо сложенное ватное одеяло. Подушкой служит ковровый саквояж, набитый грязным бельем.

— Ну, ты, брехунишка, сходил на ночь? — сурово осведомляется тетя.

Я обидчиво киваю головой и поворачиваюсь к окну. И чего она пристаёт? Я мамин сын, а не тетин. У нее своих девчонок целая куча. Пусть она с ними и занимается.

На дворе еще не все кончилось: игра продолжается. Вместо меня, я слышу, разбойником стал Берке. Он трус и несильный. Завтра я покажу ему.

Осторожно, чтобы тетя не заметила, я чуть-чуть приоткрываю окошко и через щелку гляжу во двор. Детей уже мало; последних загоняют домой. Становится совсем тихо, так тихо, что слышишь всплеск рыбки на уснувшей реке и шорох крыльев летучей мыши, царапающей синие сумерки.

Сквозь щелку я вижу небо. На этом небе сидит наш еврейский бог с большой седой бородой. Он все знает и все может.

И я обращаюсь к нему с большой просьбой:

— Сделай, дорогой мой, так, чтобы я никогда не врал. Ну, что тебе стоит? Ты такой большой и сильный, а я такой маленький... Прошу тебя... Я знаю, ты сердишься за то, что я не люблю молиться. Но я же не виноват, когда молитвы такие длинные и совсем даже непонятные...

Мне спать еще не хочется, и я думаю о маме, умирающей в больнице, о яблоках, растущих в саду священника, о товарищах... Завтра мы отправимся далеко-далеко, где на баштанах зреют огурцы и

сладкий горох... А тетя не имеет права за уши драть. Завтра пойду в больницу и маме пожалуюсь...

Высоко-высоко горит звезда с алмазными стрелками. Я прищуриваю глаза, и стрелки сверкающими нитями вытягиваются до самых ресниц моих... И тишина шепчет мне маминым голосом: «Спи, маленький... Спи, бедненький...»

Просыпаюсь от обычного шума летнего утра. Свистят птицы, на соседнем дворе мычит корова, ревут двоюродные сестренки и беспередышно кашляет дядя Шмуни — муж тети Сары.

Он очень болен: у него чахотка.

Дядя целый день ходит по богатым домам делать папиросы и зарабатывает два рубля в неделю.

Об этих двух рублях и о наших семи ртах тетя говорит каждодневно.

— Мы так бедны, что даже помои у нас чистые, — замечает тетя, заглядывая в ушат, что стоит в сенях.

В доме нет трех грошей, чтобы купить стакан молока для маленьких. А «маленькие» ничего знать не хотят и встречают солнечное утро воплями о хлебе.

У тети Сары лицо горит от волнения. Глаза глядят строго, черные брови сдвигаются к переносью.

Сейчас разыграется буря. Тетя ждет только, чтобы дядя кончил молиться. А тот стоит у восточной стены, закутанный в полосатый талес, нервно сжимает тонкими пальцами кончик рыжей бороды и, раскачиваясь из стороны в сторону, скороговорками выпускает из подвижных губ молитву за молитвой.

Кончит он, и тетя бросится в атаку. Она станет упрекать дядю в том, что он растоптал ее красоту и молодость, бросил ее в яму нищеты, обмногодетил ее, облохмотил, растерзал сердце, изуродовал жизнь нескончаемой скорбью, болезнями и слезами голодных детей...

Я боюсь этих бурь и стараюсь не попадаться под ноги. Одна минута — и постель моя уже брошена на печь, а сам бегу к реке.

Здесь есть где пожить!.. И побегать можно, и покупаться, и о деле поговорить с товарищами.

Сегодня пятница — самый тяжелый день для тети Сары. Она из белой муки испечет хале, наделает коржиков с маком. Будет мыть полы и чистить подсвечники; а вечером, после ужина, к нам придет Арон Пинес — наш сосед. Он — музыкант: играет на флейте, имеет двух детей и так беден, что занимает у нас соль, а иногда кусочек цикория.

Тетя говорит, что Пинес — самый умный, самый красивый и самый несчастный еврей. Красив потому, что в его черных глазах живет нежная печаль, несчастен потому, что у него рано умерла жена и что флейтой он зарабатывает меньше, чем дядя Шмуни папиросами, а умен потому, что знает то, чего нельзя даже в книгах найти.

По пятницам Пинес приходит к нам рассказывать сказки. Тетя выставляет угощение: глубокую тарелку с хорошо прожаренными тыквенными семечками. Нас, детей, отправляют на печь, и мы слушаем долго-долго...

Погаснут свечи — луна заглянет в окошко, и снова у нас светло. А Пинес рассказывает о разбойниках, о царях, о волшебниках, о далеких морях, о дремучих лесах и о такой красоте, о таких богатствах, что нашу широкую теплую печь я принимаю за беседку, осыпанную алмазами и рубинами, а сопящую рядом со мною маленькую сестренку Фрейду — за принцессу...

Старший сын Пинеса, восьмилетний Мотеле, — мой лучший друг. Скоро умрет моя мама, и я тоже, как и Мотеле, стану «сиротой», и мы с ним заранее поклялись перед солнцем, что будем навеки това-

рищами, будем защищать друг друга и делиться всем пополам.

Мы с ним одного роста и одинаковой силы, но я плаваю лучше и быстрее бегаю.

А вот он и сам. Весело скатывается с обрыва и протягивает ко мне кусочек черного хлеба, густо посыпанного солью.

— Дели сам, — говорит Мотеле и, вполне доверяя, нарочно отворачивается.

Я знаю, что было два кусочка и что один Мотеле съел по дороге, но я ему прощаю, потому что сам так делаю. Два хороших укуса — и завтраку конец.

И настает наш день. Сначала, конечно, переплываем Тетерев. В ореховой роще находим щавель и тут же поедаем его.

Потом отправляемся на свалку.

Здесь наш клуб. Здесь наша босоногая команда. Отсюда недалеко до сада священника и загородных баштанов.

В полдень возвращаемся к реке и по дороге, поднимая рубашки, хвастаем животами, туго набитыми вишнями, горохом, огурцами...

— Смотрите, у меня не живот, а настоящий барабан! — кричит один из нас, хлопая ладонью по голому животу.

— А у меня до горла доходит: скоро дышать перестану, — заявляю я.

Жара и пыль толкают нас к реке, но навстречу попадает тетя Сара, и радость летнего дня отравлена.

— Хорош единственный сын! — кричит тетя. — Родная мать умирает, а он весь день шарлатанит по городу... Сейчас чтоб ты мне отправился в больницу!..

И я, сникнув, тихо шагаю по главной улице города Житомира, по Киевской, ведущей к далекой загородной больнице.

Сирота

Больница большая, дома все каменные, белые, а по широкому двору гуляют больные. И мальчишка один на костылях гуляет, смешной — халат со шлейфом, а на голове колпак.

Я знаю, где лежит моя мама: там только женщины да старухи. Кроватей так много, что сосчитать трудно. И все одинаковые, все белые. Вхожу в палату. И хотя я маленький, но меня все видят.

Слышу шопот:

— Это сын девятой койки. Единственный...

— Бедный мальчик!..

Мне становится стыдно. Рукой стараюсь закрыть свежую прореху на рубашке: сегодня зацепился на заборе.

Мама лежит на спине, худая, тонкая и вся из воска. Подхожу и наклоняю голову. Мама горячей рукой проводит по моим кудрям, так тихо, будто перышком касается.

— Садись, — говорит мама.

И я осторожно, чтобы не шуметь, вскарабкиваюсь на табуретку.

Маме трудно говорить. Она тяжело дышит, будто набегалась.

— Достань на тумбочке... мясо... булку... Поешь, мой маленький... Как тетя?.. Ты слушаешься?..

Рот у меня набит мясом и хлебом, и я утвердительно киваю головой.

— Шимеле! — окликает меня мама.

Она хочет что-то сказать, но не может, и смотрит на меня большими влажными глазами.

Я поел, и мне становится скучно. Думаю о товарищах и от нечего делать играю ногами. Мама делает мне знак. Я сползаю с табуретки, и снова

Мой кудри ощущают ласковое прикосновение маминной руки.

— Уж поздно... Иди, мой птенчик... мой маленький...

Я ухожу. На пороге оглядываюсь и вижу прощальные глаза мамы. В горле закипают слезы, слово «сирота» ударяет по лицу, и, спрятавшись за крылечко, прижимаюсь к каменной стене и тихо плачу...

Я — сирота: моя мама умерла. Тетя Сара и сестра моя, Бася, служащая няней в одном богатом доме, весь день плачут. По случаю траура они сидят на полу без обуви, а меня дядя водит в синагогу и заставляет повторять одну и ту же успокоительную молитву под названием «кадыш».

Мне очень обидно: никак не могу понять, почему умерла моя мама, а не чужая.

К нам ходят соседи утешать нас. Старуха Малке, вдова учителя, набожная женщина, с втянутыми в беззубый рот губами, говорит в утешение:

— Фейге (имя покойной мамы) хорошо сделала... Что ждало ее в будущем? Ей все равно пришлось бы волочить по земле свои страдания... А теперь слезами и муками она проложила себе дорогу в рай, и, может быть, душа ее уже радостно катится в Ерусалим...

Наш сосед Арон Пинес сидит на стуле и говорит взволнованным голосом:

— Оставьте в покое Ерусалим: он бедняку нужен, как богачу милосердие. Вы полагаете, что если еврей умер, мы должны за это славить господа, потому что одним нищим стало меньше на земле. Вот так думают и наши раввины. С одним из них я недавно имел беседу: я стал ему жаловаться на свою судьбу, а раввин мне на это: «Не горюй, мой сын, и не ропщи на бога: за все твои страдания тебе воздастся стори-

цей на том свете. И как сейчас ты завидуешь богачам, так они будут завидовать тебе, когда будешь в раю...» Тогда я ему в ответ: «Равви, если так, то, будьте добры, переговорите с Мойше Скомаровским — он первый у нас богач, — и я охотно с ним поменяюсь: пусть он завтра займет мое место в раю, а я безропотно отправлюсь в ад, когда мне придет конец...»

Тетя Сара улыбается и благодарными глазами смотрит на Пинеса. А дядя Шмуни готовится к предвечерней молитве, хмурится, кашляет и, видимо, очень недоволен речью соседа.

— Разве Фейгеле умерла? — продолжает Пинес, поощренный улыбкой тети — Ее убили. Взяли молодую, красивую, здоровую женщину и вогнали в гроб. Первый всадил ей нож в сердце черный негодяй — отец вот этих сирот...

Тетя всхлипывает и вытирает слезы передником. Я настораживаюсь: речь идет о моем отце. Мне отчетливо представляется, как отец вытаскивает из-за голенища большой нож и всаживает острое лезвие в сердце мамы. И я мгновенно перестаю любить отца.

— На слабые плечи женщины, — продолжает Пинес, — черной тучей упала жизнь. Обиды, измены, непосильная борьба и одиночество замучили нашу страдалицу, и она погибла... Но, скажите мне, разве может под такой пресс попасть дочь ростовщика или фабриканта!.. Никогда!.. За нее сейчас же заступятся: бог, царь и раввин... А Фейгеле была бедна. Наш милосердный бог большой аристократ, и вековое еврейское горе ему надоело. Он не любит, когда в его небесные окна стучится бесправная голь...

— Послушайте, Пинес, я прошу вас в моем доме не богохульствовать! — неожиданно перебивает соседа дядя Шмуни.

Он дрожит от волнения, и тощее лицо заливается румянцем.

У тети загораются глаза, и она кричит:

— Можешь не слушать, если не нравится... Бог найдет адвоката получше тебя. Уж кто бы говорил...

Тетя вскипает и, забыв о посторонних, обнажает язвы многострадальной жизни... Она рассказывает о том, как отец мой — рабочий на табачной фабрике в Петербурге — сошелся с русской рябой девкой — папиросницей, а жену с двумя малютками бросил на растерзание свирепой нищете...

И еще рассказывает тетя о том, как моя мама, прибыв сюда, в Житомир, поступила кухаркой и отдала все силы свои, чтобы скопить деньги, необходимые нам, ее детям, на дорогу. Но отец, получив скопленные трудом и слезами гроши, не поехал с нами лично, а отправил нас одних в далекий и опасный путь...

Тетя все это рассказывает со слезами в голосе. Сестра моя плачет. Глядя на них, я кулачонками тру глаза, и наше горе представляется мне черной тучей, падающей на наши плечи.

Но время уносит траурные дни, воспоминания о маме блекнут, и я снова на улице, среди жизнерадостной голытьбы, согретой солнцем.

Всюду пахнет медом и малиной. Все поспело, все созрело.

Хорошо и вкусно жить на свете!

3

О б и д а

Да, хорошо и вкусно жить на свете, когда пахнет медом и малиной и когда созревшие сады источают сладкий сок тяжеловесных плодов, но зато очень плохо, когда ветры срывают листья с деревьев, студят